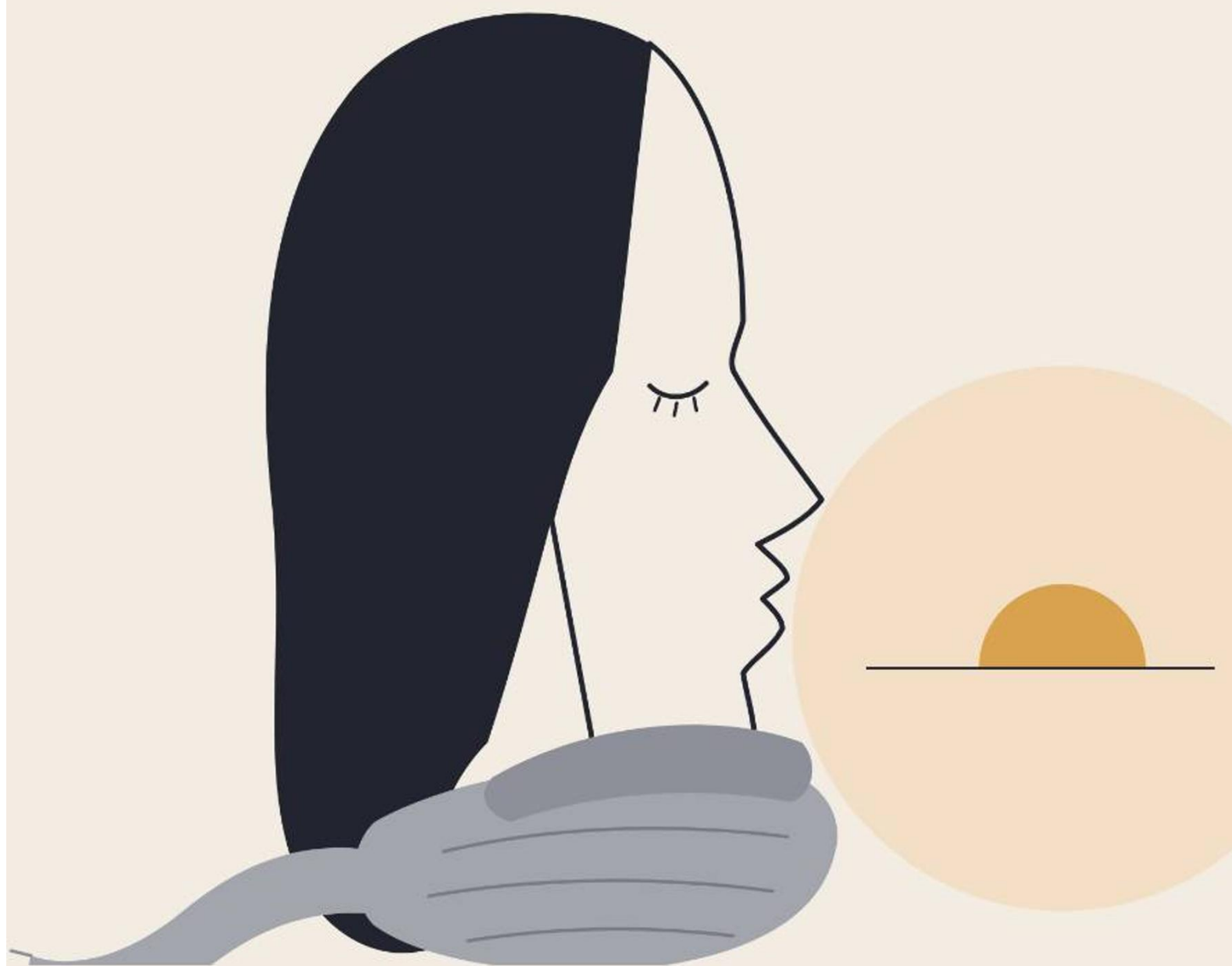


РИНА МАНОВА

РОМАН



Опиши мне
рассвет

Иногда, чтобы увидеть, нужно закрыть глаза.

Рина Манова

Опиши мне рассвет

«Автор»

2026

Манова Р.

Опиши мне рассвет / Р. Манова — «Автор», 2026

Композитор Марк Левин слепнет. Через год от его мира останутся лишь свет и тени, а музыка, которая всегда начиналась с того, что он видел, уже умолкла. Вернуть её может только голос Веры, чтицы аудиокниг, которая каждый день описывает ему город так, что он снова начинает писать. Рядом с Марком Вера впервые за девятнадцать лет свободна. Потому что он не видит её лица. И шрама, который она прячет под шарфом. Но врачи дают Марку шанс прозреть. И первое, что он хочет увидеть, — её. Пронзительный роман о любви, которая рождается в темноте, и о смелости позволить себя увидеть. Для всех, кто хоть раз боялся, что его не полюбят таким, какой он есть.

© Манова Р., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Голос в темноте	6
Глава 2. Размытые края	9
Глава 3. Бессонница	12
Глава 4. Странное предложение	15
Глава 5. Он не видит	18
Глава 6. «Синее - это не описание»	21
Глава 7. Правила игры	24
Глава 8. Первая тема	26
Глава 9. Город наощупь	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Опиши мне рассвет

Глава 1. Голос в темноте

- ...и тогда он сказал: «Я ждал тебя всю жизнь, просто не знал, как тебя зовут».

Вера сделала паузу, ровно на два удара сердца, как учили. Потом прочитала последнюю строку, ту, что всегда давалась труднее всего, потому что после неё уже ничего не было:

- Конец.

Красная лампочка над дверью погасла. За стеклом звукорежиссёр Гоша снял наушники, потянулся так, что хрустнули плечи, и показал ей большой палец.

- Чисто. Ни одного дубля на последней главе. Ты монстр, Соколова.

- Спасибо, - сказала Вера в микрофон, и её голос, усиленный, бархатный, прокатился по пустой аппаратной. Так он звучал только здесь. В обычной жизни он был тише.

Она сняла наушники и только тогда заметила, что щёки мокрые. Правая, во всяком случае. Левая почти ничего не чувствовала уже девятнадцать лет: кожа там была плотной, глянцевой, похожей на застывший воск, и слёзы по ней скатывались, не оставляя ощущения. Вера вытерла лицо рукавом свитера, быстро, привычным движением, будто стирала пыль.

Глупо. Это был четырнадцатый любовный роман за год. Она знала все их ходы наизусть: встреча, ссора, поцелуй под дождём, недоразумение, разлука на сто страниц, аэропорт или вокзал, «я ждал тебя всю жизнь». Она давно не верила ни одному слову. И всё равно каждый раз на последней странице плакала, как дура.

«Потому что ты читаешь их так, будто это с тобой», - сказала бы Лена.

«Потому что это никогда не будет со мной», - ответила бы Вера. Но вслух такое не говорят даже сёстрам.

- Чай будешь? - Гоша просунул голову в дверь кабины. - Там Марина торт принесла, у неё внук родился.

- Нет, я побегу. Метро скоро закроют.

- Вер, полвторого ночи. Метро уже закрыто.

Она посмотрела на часы. Действительно.

- Тогда такси.

- Давай я тебя подброшу...

- Не надо, - слишком быстро сказала она и тут же улыбнулась, чтобы смягчить. Улыбалась она всегда одной стороной, правой. Это получалось само. - Правда, Гош. Спасибо. Я люблю ночное такси, там никто не разговаривает.

Гоша пожал плечами. Он работал с ней шесть лет и давно перестал настаивать.

В раздевалке Вера намотала шарф: длинный, серый, мягкий, из хорошей шерсти. Шарфы были единственной вещью, на которую она не жалела денег. Два оборота вокруг шеи, третий чуть выше, так, чтобы край ложился на левую скулу. Капюшон пуховика. Волосы, отпущенные длинными именно для этого, падали с левой стороны тяжёлой тёмной прядью. В зеркало над раковиной она не посмотрела. Она вообще не смотрела в зеркала, но научилась делать это так ловко, что никто не замечал.

Ноябрьская Москва в два часа ночи пахла мокрым асфальтом и чужими сигаретами. Такси пришло через четыре минуты. Водитель, пожилой, с бородой, слушал радио «Ретро», и Вера была ему благодарна: можно было сесть сзади, справа, отвернуться к окну и смотреть, как город проплывает мимо, жёлтый, расплывчатый, в каплях на стекле.

Она любила этот час. Ночью никто не смотрит. Ночью люди спешат, или спят, или пьяны, или влюблены, и им нет дела до женщины в шарфе. Днём было хуже. Днём в метро всегда находился ребёнок, который смотрел. Дети смотрят честно, без стеснения, разинув рот, и потом

дёргают маму за рукав: «Мам, а что у тёти с лицом?» И мама шикает, краснеет, отводит глаза, а это было ещё хуже, чем ребёнок.

Вера опускала голову раньше, чем кто-то успевал посмотреть. Это было почти инстинктом, как моргнуть, когда в глаз летит пылинка.

Телефон завибрировал. Лена. Конечно, Лена: кто ещё звонит в два ночи?

- Ты не спишь, - сказала сестра вместо приветствия.

- Я еду домой. Ты почему не спишь? У тебя завтра пары.

- У меня завтра коллоквиум по фармакологии, и я в ужасе. Поговори со мной своим голосом. Прочитай мне что-нибудь успокаивающее. Инструкцию к стиральной машине.

Вера засмеялась. Рядом с Леной это получалось легко.

- «Перед началом эксплуатации убедитесь, что транспортировочные болты удалены», - произнесла она низко, медленно, с той интонацией, которой читала постельные сцены.

Лена застонала.

- Божечки, это же незаконно. Как ты это делаешь? Почему у тебя до сих пор нет мужика? С таким голосом можно продавать ипотеку на Марс.

- Лена.

- Что «Лена»? Я серьёзно. Ты сидишь в своей будке, читаешь про страсть, а потом едешь домой к коту.

- Я люблю своего кота.

- Кот тебя не обнимет.

- Кот меня не разочарует, - сказала Вера, и в трубке на секунду стало тихо. Она тут же пожалела. - Прости. Я устала. Давай про фармакологию. Что там у тебя? Антибиотики?

- Антикоагулянты, - вздохнула Лена. И они говорили о гепарине, пока такси не остановилось у пятиэтажки на Соколе.

Квартира у Веры была маленькая и тёплая: однушка с высокими потолками, книги до потолка, старое кресло с пледом и кот Бах, серый, огромный, с разорванным ухом. Его она подобрала у мусорных баков три года назад. Бах был единственным мужчиной, который видел её без шарфа и ни разу не отвёл взгляда.

Зеркало в прихожей было завешено пёстрым платком. Зеркало в ванной - полотенцем на гвоздике. Третье, в дверце шкафа, Вера давно развернула к стене. Гостям, которых почти не бывало, она объясняла это то фэншуйем, то суеверием, то ремонтом.

Она покормила Баха, включила чайник и, не снимая свитера, села в кресло. Бах тут же устроился у неё на коленях, тяжёлый, урчащий.

- Ну что, - сказала она ему. - Ещё один хеппи-энд. Он её нашёл. Он сказал, что ждал её всю жизнь.

Бах зевнул.

- Вот и я так думаю.

На экране телефона висело непрочитанное письмо из издательства «Северный свет»: новый контракт, три книги до весны, все три любовные. И ещё одно, со странной темой: «Вера, срочно, необычный запрос. Позвоните утром». Вера открыла его, пробежала глазами пару строк: «...один слушатель... очень настойчив... известный человек... хочет встретиться лично...»

Она закрыла письмо, не дочитав.

Лично. Нет. Таких писем она получала два-три в год: от поклонников голоса, которые представляли себе роковую блонетку с низким смехом и красной помадой. Она всегда отказывала, вежливо, через издательство. Голос был её. Лицо было её. Но эти две вещи никогда не должны были встретиться в одной комнате с незнакомцем.

За окном шёл первый снег, мелкий и ещё неуверенный. Вера смотрела на него и машинально, по профессиональной привычке, подбирала слова: «Снег падал так, будто небо пробовало, можно ли».

Хорошая фраза. Жаль, что некому её сказать.

Она выключила свет и сидела в темноте, пока не остыл чай. В темноте у неё было обычное лицо.

Глава 2. Размытые края

Тремя неделями раньше

- Посмотрите на точку. Не на меня, Марк Аркадьевич, на точку.

- Я смотрю на точку.

- Вы смотрите на мой нос.

- Ваш нос интереснее.

Доктор Ахмедова не улыбнулась. Ей было за пятьдесят, у неё были жёсткие седые волосы, короткие ногти и голос человека, который сообщал плохие новости так часто, что давно перестал их смягчать. Марку это понравилось с первого приёма. Не нравилось ему всё остальное.

Пятнадцать минут он сидел в темноте, упираясь подбородком в холодный пластик, и смотрел, как вспыхивают и гаснут огоньки. Некоторые он видел. О некоторых догадывался по щелчку аппарата. Это было похоже на игру, в которой он проигрывал, но не понимал правил.

Потом свет включили.

Кабинет был белым, и Марк отметил, что белый стал каким-то другим. Не белым, а молочным, будто кто-то подышал на мир, как на стекло, и забыл протереть. Края предметов, стола, монитора, рамки с дипломом на стене, мягко расплзались. Последние полгода он списывал это на усталость, на ночи в студии, на возраст, на то, что ему тридцать шесть и пора наконец купить очки.

- Ну, - сказал он, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. - Мне нужны очки. Скажите, что мне нужны очки. Я выберу какие-нибудь чудовищные, в роговой оправе, и буду выглядеть как настоящий композитор.

Доктор Ахмедова развернула к нему монитор. На экране было что-то оранжевое, круглое, в тёмных пятнах, похожее на снимок чужой планеты.

- Это ваша сетчатка, - сказала она. - Правый глаз. Видите эти очаги?

- Честно? Не очень.

- Это не шутка, Марк Аркадьевич.

- Я понял, - сказал он. И почему-то понял действительно: по тому, как она сложила руки, как сделала паузу. Пауза была профессиональная, ровно на два удара. Он знал такие паузы. Он сам писал их в партитурах перед тем, как оркестр обрушится всей мощью.

Дальше были слова. Наследственная дистрофия. Прогрессирующая форма. Скорость дегенерации. Центральное зрение. Периферическое. Двенадцать месяцев. Может быть, восемнадцать. Индивидуально. Лечение, которое остановит процесс, на сегодняшний день не существует. Есть исследования. Есть надежда. Мы будем наблюдать.

Марк слушал, кивал и смотрел на стакан с ручками на её столе. Стакан был синий. Или фиолетовый. Он не был уверен и почему-то именно это его взбесило больше всего: не «двенадцать месяцев», а то, что он, человек, который слышит разницу между до и до-диез через три стены, не может отличить синий от фиолетового.

- То есть я ослепну, - сказал он, когда она замолчала.

- Скорее всего, вы потеряете центральное зрение полностью. Останется часть периферического: свет, тени, движение. Читать вы не сможете. Узнавать лица - тоже.

- Ноты?

Доктор Ахмедова посмотрела на него.

- Ноты тоже, - сказала она.

Он вышел из клиники на Тверскую в половине второго. Было холодно и ярко: в начале ноября случился один из тех дней, когда солнце низкое и бьёт прямо в глаза, отражаясь от

каждой витрины. Марк прищурился и полез за тёмными очками. Он всегда носил тёмные очки, даже зимой, и его агент Илья говорил, что это пижонство. Теперь это была необходимость.

Напротив висела вывеска. Большая, зелёная, с белыми буквами. Аптека? Банк? Марк смотрел на неё и не мог прочитать. Буквы были, он видел, что это буквы, но они дрожали и сливались, как отражение в воде, по которой кинули камень.

Он простоял так минуту. Мимо шли люди. Кто-то толкнул его плечом и буркнул «встал тут». Марк не ответил.

Потом развернулся и пошёл к машине, и только у машины понял, что не сможет её вести. Не сегодня. Может быть, уже никогда. Он сел на водительское место, положил руки на руль и сидел так, пока не начали замерзать пальцы.

Он подумал: надо позвонить. Кому? Илье. Илья сразу всё решит: найдёт клинику в Германии, в Израиле, в Америке, профессора, светило, чудо. Илья был из тех людей, которые верят, что любую проблему можно решить правильным звонком.

Он подумал о Диане. Два года назад он почти женился на ней. Диана бы пожалела его. Она была бы невероятно, безупречно добра. Она бы взяла всё в свои красивые руки с идеальным маникюром, и он бы стал её проектом: слепой гений, трагедия, интервью. Марк скорее бы умер.

Он подумал о матери, которая жила в Хайфе и звонила по воскресеньям. О сестре, с которой не разговаривал три года. Об отце, которого не было в живых. Отец, кстати, тоже плохо видел в конце. Марк думал, что из-за диабета.

Наследственная, сказала Ахмедова.

Он никому не позвонил.

Вечером у него была запись: сорок два музыканта, большой зал «Мосфильма», саундтрек к фильму про войну. Режиссёр ждал финальную сцену три недели. Марк писал её три недели. Музыка была почти готова.

Он пришёл в студию, поздоровался, сел за пульт рядом со звукорежиссёром и открыл партитуру.

Ноты плыли.

Он знал эту музыку наизусть, каждый такт, каждую паузу. Она жила у него в голове, и партитура ему, в сущности, была не нужна. Но он смотрел на расползающиеся чёрные точки на белых линейках и думал: через год я не смогу записать то, что слышу. Я буду слышать симфонию и не смогу её никому отдать. Она будет умирать у меня в голове.

- Марк, начинаем? - спросил дирижёр.

Оркестр заиграл. Это было красиво. Это было то, что нужно: скрипки, низкие валторны, медленное нарастание. Режиссёр за спиной Марка шмыгнул носом.

На сорок третьем такте Марк нажал кнопку связи.

- Стоп.

Оркестр остановился вразнобой.

- Что не так? - спросил дирижёр.

- Всё, - сказал Марк. - Всё не так. Это фальшивка. Это музыка человека, который не знает, что такое потерять.

- Марк, - осторожно начал режиссёр, - мне кажется, это ровно то...

- Вам кажется, - сказал Марк и встал. - Запись отменяется. Я перепишу.

- У нас сдача через десять дней!

- Значит, перепишу за десять дней.

Он вышел из зала, не оглянувшись, и в коридоре чуть не сбил с ног виолончелистку, которую не заметил: она шла слева, а слева у него теперь было больше тумана, чем справа.

- Извините, - сказал он, не глядя.

- Ничего, - ответила она. Её лицо было белым пятном с тёмными пятнами глаз. Он даже не смог бы сказать, молодая она или нет.

В машине такси он написал Илье: «Сорвал запись. Не спрашивай. Пусть думают, что я гений и у меня кризис».

Илья ответил через минуту: «Ты и есть гений с кризисом. Что случилось?»

Марк посмотрел на экран, на расплывающиеся буквы, и выключил телефон.

Глава 3. Бессонница

На девятую ночь без сна Марк начал разговаривать с роялем.

- Ну? - говорил он, садясь на банкетку. - Что сегодня?

Рояль молчал. Это был «Стейнвей» 1962 года, чёрный, огромный, занимавший половину гостиной в квартире на Чистых прудах. Марк купил его на гонорар за первый голливудский фильм и с тех пор ни разу не был ему неверен. Рояль знал о нём больше, чем любой человек: все его ночи, похмелья, разрывы, удачи.

Марк клал пальцы на клавиши. Брал аккорд. Ре минор. Банально. Си-бемоль мажор с добавленной секстой. Красиво и пусто. Он пробовал ещё и ещё, перебирал, ломал, и каждый звук, едва родившись, казался ему фальшивым, как улыбка на поминках.

Раньше музыка приходила сама. Он видел её: так он объяснял журналистам, и они записывали, кивая, думая, что это метафора. Но это не было метафорой. Он закрывал глаза и видел: свет на воде превращался в арпеджио флейт, тень от облака на поле становилась медленной виолончелью, лицо женщины в окне поезда - темой, которую он потом носил в себе годами. Его музыка всегда начиналась с картинки.

Теперь картинки гасли. Он закрывал глаза - и видел туман. Открывал - и видел туман чуть посветлее.

На девятую ночь он ударил по клавишам обоими кулаками. Рояль загудел низко, обиженно, и долго не мог успокоиться.

- Прости, - сказал Марк, положив ладонь на лакированную крышку. - Прости, старик. Это не ты.

Илья приехал утром, без звонка, как приезжал всегда, когда Марк переставал отвечать на сообщения. Он открыл дверь своим ключом, вошёл, громко топая, с пакетами из «Азбуки вкуса» и двумя стаканами кофе, и остановился на пороге гостиной.

- Твою ж мать, - сказал он.

На полу лежали листы нотной бумаги, исписанные, перечёркнутые, смятые. Шторы были задёрнуты. Пахло виски и чем-то кислым. Марк лежал на диване, в той же рубашке, в которой был на «Мосфильме», и смотрел в потолок.

- Ты похож на Бетховена в его худший период, - сказал Илья. - Только у Бетховена хотя бы была глухота как оправдание.

Марк засмеялся. Это был такой странный, хриплый звук, что Илья поставил пакеты на пол.

- Марик. Что происходит?

Илье было сорок, он был круглым, лысеющим, вечно потеющим человеком с золотыми часами и золотым сердцем. Он был агентом Марка двенадцать лет и его другом - пятнадцать. Он знал о Марке почти всё. Почти.

- Кризис, - сказал Марк. - Творческий. Не могу писать.

- Это я понял. Ты срываешь запись за десять дней до сдачи. Ты не берёшь трубку. Ты не ешь. - Илья раздвинул шторы, и Марк зажмурился, закрывая лицо рукой. - Ты болен? Скажи мне, ты болен?

На секунду Марк почти сказал. Слова были у него во рту, тяжёлые, как камни: я слепну, Илюха. Через год я не увижу твою лысину. Но он представил, как изменится лицо Ильи, как он сразу начнёт звонить, искать, суетиться, и как потом об этом узнает Диана, и продюсеры, и режиссёры, и все эти люди, которые нанимают его за то, что он лучший. Слепой композитор. Как трогательно. Как неудобно.

- Я не болен, - сказал Марк. - Я не сплю. Это не одно и то же.

Илья смотрел на него долго, как смотрят на ребёнка, который явно врёт, но которого пока не за что поймать.

- Ладно, - сказал он наконец. - Ладно. Тогда так. - Он полез в карман, достал телефон, что-то нажал. - Я тебе скинул одну штуку. Моя Светка, жена, на ней помешалась. Говорит, засыпает только под неё.

- Что это?

- Аудиокнига. Любовный роман, какой-то шведский, про маяк и метель. Ничего особенного. Но там чтица... - Илья сделал неопределённый жест пухлой рукой. - Короче, послушай. Жена говорит, это как горячая ванна. Я как-то послушал минут пять в машине и чуть не проехал поворот.

- Илья, я не буду слушать бабские романы.

- Будешь. Потому что ты девять дней не спишь, а я твой агент и мне нужен живой композитор, а не труп с кризисом. - Он поставил перед Марком кофе. - Пей. Ешь. Слушай. Я приеду вечером.

Заставить себя Марк смог только в третьем часу ночи следующих суток.

Он лёг в темноте, надел наушники, нажал на «воспроизведение» и сразу подумал, что выключит через минуту.

Сначала была пауза. Потом голос.

Он не был низким, как Марк ожидал после слов Ильи, и не был сладким, как голоса дикторш из рекламы. Он был тёплым, чуть с хрипотцой на нижних нотах, и очень ясным: каждое слово звучало так, будто его поставили на полку и подвинули, чтобы на него падал свет.

«Метель началась в четыре часа пополудни, - сказал голос, - и сначала была почти незаметной: будто кто-то наверху вытряхивал старую перину, лениво, без злобы. Снег не падал, а висел в воздухе, раздумывая. Маяк стоял на краю мыса белый, как кусок сахара, забытый на краю стола...»

Марк лежал неподвижно.

Он увидел.

Это было глупо, невозможно, это было похоже на то, как бывает, когда в тёмной комнате долго смотришь на окно, а потом закрываешь глаза и видишь его отпечаток. Он видел мыс, серое море, белый маяк, похожий на кусок сахара, и снег, который раздумывал. Он видел это не глазами, глаза здесь были ни при чём. Он видел это так же, как раньше видел музыку.

Голос читал дальше, про женщину, которая приехала на остров, про зрителя, который не хотел с ней разговаривать, про чашку с отбитой ручкой. Сюжет был простым, предсказуемым, и Марку было совершенно всё равно. Он слушал не историю. Он слушал, как эта женщина смотрит на мир. Потому что было ясно: чтица не просто читала текст, она видела всё, о чём говорила, и отдавала это ему, будто разворачивая перед ним каждую картинку бережно, как фотографию из альбома.

В какой-то момент - на сцене, где героиня впервые поднималась по винтовой лестнице маяка, - у Марка в голове зазвучали три ноты. Фа, ля-бемоль, до. Простые. Восходящие, как ступени. Он чуть не вскочил к роялю, но побоялся, что если выключит голос, то и ноты исчезнут.

Он не выключил. Он слушал до самого рассвета, восемь часов подряд, до последней фразы: «И тогда она поняла, что свет маяка нужен не морю, а тому, кто его зажигает».

Потом голос сказал, другим тоном, деловым и чуть смущённым, будто снимая сценический костюм: «Текст читала Вера Соколова».

Вера.

За окном светало: Марк понял это по тому, что туман в комнате стал серым, а потом розоватым. Он нашарил телефон и почти вслепую, увеличив шрифт до огромного, набрал в заметках: «Вера Соколова. Издательство?»

Впервые за девять дней он уснул, прямо в наушниках, с телефоном в руке. Ему снился маяк.

Проснувшись в два часа дня, он первым делом позвонил Илье.

- Чтица, - сказал он, не здороваясь. - Вера Соколова. Найди мне её.

- Э... - Илья явно жевал. - Зачем?

- Хочу с ней встретиться.

- Марик, если ты собрался писать музыку к аудиокниге, это вообще не наш формат, там бюджеты...

- Я собрался писать музыку, - перебил Марк. - Это пока всё, что тебе нужно знать. Найди её, Илья. Пожалуйста.

Илья замолчал. За двенадцать лет Марк сказал ему «пожалуйста» от силы раза три.

- Найду, - сказал Илья.

Глава 4. Странное предложение

- Вера, ну пожалуйста, - сказала Ирина Павловна, и в её голосе прозвучало что-то, чего Вера за восемь лет работы с «Северным светом» не слышала ни разу. Мольба. - Один раз. Полчаса. Кофе. Он заплатит издательству просто за встречу, вы понимаете? Просто за то, что вы с ним поговорите.

- Я понимаю, - сказала Вера. Она стояла у окна своей кухни, прижимая телефон к правому уху, и смотрела, как дворник внизу скребёт лопатой первый настоящий снег. - Но я не встречаюсь со слушателями. Вы же знаете.

- Он не слушатель. То есть слушатель, но... Вера, это Марк Левин.

Пауза.

- Я должна знать, кто это?

Ирина Павловна издала звук, средний между вздохом и стоном.

- Композитор. «Северный ветер». «Дом на краю». Музыка к «Зиме». У него «Ника» и номинация на «Золотой глобус». Его музыку крутят на всех фигурных катаниях. Вы правда не знаете?

Вера знала. Конечно, она знала «Зиму»: она плакала на этом фильме дважды, и оба раза не из-за сюжета, а из-за той сцены, где героиня идёт по замёрзшему озеру и музыка будто трескается вместе со льдом. Она просто никогда не думала о том, что у этой музыки есть автор. Живой человек с именем, телефоном и, видимо, странными желаниями.

- Чего он хочет?

- Он не говорит. Говорит: только лично. - Ирина Павловна понизила голос. - Его агент звонил мне четыре раза. Вера, я вас не заставляю. Но, может быть... может быть, это какой-то проект? Музыка и голос? Вы представляете, что это может значить для вашей карьеры?

Вера представляла. Она представляла кафе, свет, мужчину напротив. Мужчину, который придёт на встречу с роковой брюнеткой из своих наушников и увидит её.

- Нет, - сказала она. - Простите. Нет.

Она положила трубку и долго стояла у окна. Дворник внизу закончил дорожку и закурил, глядя в небо. Бах тёрся о ноги.

Через час Ирина Павловна прислала сообщение: «Он сказал: пусть выберет любое место. Любое время. Любые условия. Он просил передать, что слушал Маяк восемь часов подряд и это был первый раз за девять ночей, когда он уснул».

Вера прочитала это три раза.

Потом она написала: «Кафе Ночной кофе на Соколе. Послезавтра, 22:00. Я сяду в дальнем углу. Двадцать минут».

«Ночной кофе» она выбрала потому, что там был плохой свет. Это было маленькое заведение в полуподвале: кирпичные стены, жёлтые лампы под абажурами, похожими на перевёрнутые корзинки, и угловой столик за колонной, где тени лежали так густо, что даже официанты иногда забывали туда подходить. Вера приходила сюда иногда по ночам после смены, когда не хотелось домой. Она знала, как падает свет. Она знала, что если сесть левым боком к стене, а правым к залу, то в этой полутьме её лицо будет почти обычным.

Она пришла на двадцать минут раньше, чтобы занять позицию. Шарф. Волосы. Капюшон она сняла, но шарф оставила, натянув повыше. В зале было пусто: только бармен протирает стаканы и двое студентов спорили о чём-то над ноутбуком.

В 22:00 ровно дверь открылась.

Он был высоким, это первое, что она заметила. Высоким, худым, в чёрном пальто, которое сидело на нём так, будто он в нём родился. Тёмные очки в ноябре, ночью, в полуподвале.

Вера невольно поморщилась: пижон. Он снял очки на пороге и обвёл зал взглядом, и что-то в этом взгляде было не так. Он смотрел не на людей, а немного мимо, как смотрят, когда ищут знакомый силуэт в толпе на вокзале.

Бармен что-то сказал ему и кивнул в сторону её колонны. Он пошёл к ней. Вера сцепила руки под столом.

- Вера? - спросил он, остановившись в двух шагах.

У него был низкий, хрипловатый голос, будто он долго молчал или много курил. Лицо узкое, резкое, с тёмной щетиной, с глубокими тенями под глазами. Глаза были серые, светлые, почти прозрачные, и они смотрели на неё так странно - куда-то в точку над её плечом.

- Да, - сказала она. - Здравствуйте.

Он чуть вздрогнул. Едва заметно, но она увидела. Будто её голос коснулся его физически.

- Это вы, - сказал он. - Это правда вы.

Он сел, но не напротив, как она рассчитывала, а сбоку, спиной к залу, так что свет от абажура падал ему на затылок, а ей... Вера напряглась. Ей - прямо на левую щёку.

Она ждала. Она знала, что сейчас будет: короткий взгляд, задержка, микроскопическое движение лица, которое люди сами не замечают. Сначала вниз, потом в сторону, потом обратно, с той вежливой, натянутой невозмутимостью, которая ранит хуже, чем открытый испуг.

Ничего не было.

Он смотрел на неё, вернее, на то место, где была она, спокойно и чуть рассеянно, и в его лице не изменилось ничего. Вера не поверила. Она чуть повернула голову, будто поправляя волосы, и прядь соскользнула за ухо, открывая скулу.

Ничего.

- Вы будете кофе? - спросила она, потому что надо было что-то сказать.

- Нет. Да. Неважно, - сказал он. - Послушайте. Я не умею красиво начинать, поэтому скажу прямо. У меня есть к вам предложение, и оно будет звучать как бред сумасшедшего. Пожалуйста, дослушайте до конца, а потом можете вылить на меня этот кофе.

- Я ещё не заказала кофе.

- Тогда закажите. На всякий случай.

Она почти улыбнулась. Правой стороной.

- Я слушаю.

Он положил руки на стол. Руки у него были красивые: длинные пальцы, широкие ладони, сбитые костяшки. Руки пианиста, который иногда бьёт по стене.

- Я хочу нанять вас, - сказал он. - Каждый день. На несколько часов. Платить буду столько, сколько вы скажете, в разумных пределах, хотя и в неразумных, честно говоря, тоже.

- Нанять - для чего? Озвучка? Я не работаю...

- Чтобы вы описывали мне мир.

Вера замолчала.

- Я не понимаю.

- Я тоже не очень понимаю, - сказал он и потёр переносицу. - Ладно. Вот. Когда я слушал вашу книгу, я видел. Не слушал, а видел: маяк, снег, лестницу. Вы говорите так, что картинка появляется сама. Мне это нужно. Мне нужно, чтобы вы ходили со мной: по городу, по улицам, куда угодно. И говорили, что вы видите. Как вы это видите. Своими словами.

- Зачем? - спросила Вера. - Вы же сами... - Она запнулась.

Он молчал несколько секунд. Потом сказал, глядя в точку над её плечом:

- Потому что очень скоро я не смогу видеть сам.

В кафе тихо играл джаз. Студенты у окна засмеялись. Бармен звякнул стаканом.

- Я теряю зрение, - сказал Марк Левин. Голос у него был совершенно ровный, деловой, будто он сообщал погоду. - Год. Может, полтора. Потом - свет и тени, больше ничего. Я компо-

зитор. Моя музыка всегда начиналась с того, что я видел. Сейчас я не могу написать ни одной ноты. А той ночью, с вашим голосом, я услышал три. Первые за полгода.

Он повернул к ней лицо. Его глаза, светлые, как зимнее небо, смотрели мимо, и Вера вдруг поняла: он не видит её. Совсем. Перед ним сидит размытое пятно в полутьме, тёмное с тёмным. Он не видит шарфа, не видит шрама, не видит, как она вцепилась пальцами в край стола.

Это её не успокоило. Это её почему-то испугало ещё сильнее.

- Я хочу, - сказал он тише, - запомнить мир. Пока он ещё есть. Вашими словами. Чтобы потом, когда станет темно, у меня осталось что-то, кроме темноты.

Вера встала. Резко, так что стул скрипнул.

- Простите, - сказала она. - Я не могу.

- Почему?

- Я не... Я не умею работать с людьми. Я работаю в студии. Одна. Это... Вам нужен кто-то другой. Экскурсовод. Писатель. Кто угодно.

- Мне не нужен кто угодно, - сказал он, и в его голосе впервые прорезалось что-то острое, злое. - Я слушал сто дикторов за эти девять ночей, Вера. Сто. Все читают слова. Вы одна читаете то, что за ними.

- Простите, - повторила она, наматывая шарф выше, хотя он и так был намотан до глаз.

- Мне правда очень жаль. Это... это ужасно, то, что с вами происходит. Но я не могу.

Она положила на стол тысячу за кофе, которого не заказывала, и пошла к выходу, не оглядываясь, почти бегом. На лестнице она услышала, как он позвал её - не громко, просто сказал её имя, будто пробуя его на вкус:

- Вера.

Она не обернулась.

На улице шёл снег. Он падал так, будто небо пробовало, можно ли. Вера шла домой пешком сорок минут и всю дорогу думала только об одном.

Он её не видел. Он смотрел прямо на её щёку, на свет, и не видел ничего.

В жизни Веры Соколовой это случилось впервые за девятнадцать лет.

Глава 5. Он не видит

- Подожди. Подожди-подожди-подожди. - Лена поставила кружку на стол так резко, что какао плеснуло на клеёнку. - Тебе Марк Левин предложил деньги за то, чтобы ты с ним гуляла и разговаривала. И ты сбежала?

- Я не сбежала. Я ушла.

- Ты оставила тысячу рублей за кофе, которого не пила, и ушла пешком в метель. Вер, это называется «сбежала». У нас на психиатрии это называют «реакция избегания».

- Не надо меня диагностировать.

Была суббота. Лена приехала с утра, как приезжала каждую вторую субботу: с пакетом мандаринов, конспектами и неистребимой уверенностью, что старшую сестру надо спасать. Ей было двадцать шесть. Она училась на шестом курсе меда, носила короткую стрижку, кольцо в носу и свитера размера на три больше, и у неё было лицо, при взгляде на которое люди улыбались: круглое, веснушчатое, совершенно чистое.

Вера иногда ловила себя на том, что смотрит на это лицо слишком долго. Как смотрят на свою лучшую работу.

- Ладно, - сказала Лена, сдвигая конспекты. - Давай по порядку. Что тебя напугало? Он?

- Нет. - Вера подумала. - Нет, не он. Он был... резкий. Немного грубый. Пижон в тёмных очках. Но не страшный.

- Тогда что?

Вера молчала. Бах запрыгнул на подоконник и устоял на воробьёв.

- Ты боишься, что он тебя увидит, - сказала Лена. Без вопроса.

- Он не видит, - тихо сказала Вера. - В том и дело. Лен, я сидела прямо под лампой.левой стороной. Я специально... я повернулась. Я убрала волосы. Он смотрел прямо на меня. И ничего. Ни-че-го.

Лена медленно откинулась на спинку стула.

- О, - сказала она.

- Девятнадцать лет, - сказала Вера. - Девятнадцать лет каждый человек, который смотрит мне в лицо, делает вот это. - Она изобразила: быстрый взгляд вниз, в сторону, натянутое спокойствие. - Даже ты иногда.

- Вера...

- Это не упрёк. Ты не виновата. Никто не виноват. Это просто... рефлекс. Люди не могут иначе. А он смотрел на меня так, будто я обычная. Будто у меня просто лицо. И я испугалась так, как не пугалась никогда.

- Почему?

Вера подняла на сестру глаза.

- Потому что мне понравилось.

Лена ничего не сказала. Она протянула руку через стол и положила её поверх Вериной ладони, маленькую, тёплую, с обкусанными ногтями. Вера не отдернула руку. С Леной она никогда не отдёргивала.

За окном воробьи устроили драку из-за хлебной корки. Бах наблюдал за ними с профессиональным интересом.

До четырёх часов они не возвращались к этой теме. Потом Лена, сидя на полу среди конспектов по фармакологии, сказала, не поднимая головы:

- Мне в феврале платить за последний семестр.

- Я знаю. Я заплачу.

- Ты заплатишь из того, что откладываешь на свою операцию.

Вера замерла с чашкой в руке.

- Откуда ты...

- Я твоя сестра. И я видела выписку из клиники в Питере у тебя на холодильнике под магнитом с котиком. Лазерная шлифовка, три этапа, без гарантий. - Лена наконец посмотрела на неё. - Ты копишь третий год. И каждый раз, когда мне нужны деньги, твоя копилка худеет.

- Это моё дело.

- Нет, - сказала Лена. - Не только твоё.

Она встала, подошла к сестре и встала перед ней, в огромном свитере, с кольцом в носу, маленькая и упрямая.

- Ты вынесла меня из огня, когда мне было семь, - сказала она. - Я этого почти не помню, но я помню, что ты пахла дымом и держала мою голову под своей курткой, чтобы мне не опалило лицо. Вот этим лицом. - Она ткнула себя пальцем в щёку. - Каждый день, Вер. Каждый день я смотрю в зеркало и знаю, чьё оно на самом деле.

- Лена, не надо.

- Надо. Я не прошу тебя ради денег. Хотя деньги тоже, да, давай будем честными: мы обе нищие. Я прошу тебя, потому что за девятнадцать лет ты впервые сказала, что тебе что-то понравилось. Не книга. Не кот. А то, как на тебя посмотрел живой мужчина.

- Он на меня не посмотрел. В этом всё и дело.

- Ну вот и отлично, - сказала Лена с безупречной логикой младшей сестры. - Он не смотрит, ты не прячешься. Идеальная пара.

Вера засмеялась, против воли, и почувствовала, как у неё защемило в глазах.

- Это ужасно, - сказала она. - Ты понимаешь, что это ужасно? Человек слепнет. У него горе. А я радуюсь, что он меня не видит. Это мерзко, Лена.

Лена подумала.

- Это не мерзко, - сказала она наконец, очень серьёзно. - Это по-человечески. Он хочет того, что ты можешь дать. А ты хочешь того, что можешь получить только от него. Это называется - сделка. Или... - Она пожала плечами. - Или начало чего-то. Посмотрим.

Вечером, когда Лена уехала, Вера долго сидела в кресле, глядя на телефон.

В голове всё ещё звучало, как он сказал её имя на лестнице: тихо, будто пробуя на вкус.

И то, что он сказал до этого. «Чтобы потом, когда станет темно, у меня осталось что-то, кроме темноты».

Вера знала, что такое темнота. После пожара она полгода пролежала в ожоговом центре с забинтованным лицом, и мир состоял только из звуков: шагов медсестёр, звона капельницы, маминого плача за дверью. Именно тогда она начала разговаривать сама с собой. Тихо, под бинтами, описывала себе то, чего не видела: вот за окном сейчас, наверное, тополь, и на нём ворона, а вон там, наверное, солнце. Так было не страшно.

Так, наверное, и родился её голос.

Она написала Ирине Павловне в 23:40: «Испытательная неделя. Мои условия: не больше четырёх часов в день, только на улице или в местах, которые выберу я. Никаких фотографий. Никаких интервью. Никто не должен знать».

Ответ пришёл через шесть минут, будто Ирина Павловна сидела у телефона: «Он согласен на всё. Он спрашивает, когда».

Вера посмотрела в окно. Снег перестал. Над крышами висела луна, бледная и неровная, как надкушенное яблоко.

«Понедельник, - написала она. - Восемь утра. Пусть ждёт у памятника Грибоедову».

Она отправила, положила телефон экраном вниз и почувствовала то, что было хуже страха и лучше надежды. Стыд от облегчения.

Он не видит.

Какое страшное, какое чудесное «не».

Глава 6. «Синее - это не описание»

Она опоздала на семь минут.

Марк знал это точно, потому что пришёл к памятнику Грибоедову без пятнадцати восемь и каждую минуту спрашивал время у голосового помощника в наушнике. «Семь часов пятьдесят две минуты». «Семь часов пятьдесят девять минут». «Восемь часов четыре минуты». На шестой минуте он решил, что она не придёт. На седьмой услышал за спиной шаги - быстрые, лёгкие, по мокрой плитке - и голос, чуть запыхавшийся:

- Простите. Троллейбус.

Он обернулся. Перед ним стояло тёмное пятно, высокое, узкое, с бледным мазком там, где было лицо. Он не мог сказать, какого цвета у неё глаза. Не мог сказать, красива ли она. Было утро, серое и низкое, и мир вокруг напоминал плохую фотографию, снятую через запотевшее стекло.

Но голос. Голос был тот самый.

- Вы опоздали, - сказал он.

- Я извинилась.

- Я слышал. Я просто констатирую. Я плачу за время.

Пауза.

- Хорошо, - сказала она, и в голосе появилось что-то колющее. - Тогда вычитите семь минут. Начнём?

Он не ожидал. Он ожидал, что она смутится, начнёт оправдываться, она ведь была тихой, она ведь сбежала из кафе. А она стояла перед ним и ждала, и он почти физически почувствовал, как она подняла подбородок.

- Начнём, - сказал он. - Где мы?

- Вы же знаете, где мы. Чистые пруды. Вы здесь живёте.

- Я знаю, где мы. Я спрашиваю, где мы. Опишите.

Она помолчала.

- Ну... Утро. Пасмурно. Пруд замёрз по краям, но в середине вода ещё открытая, тёмная. На ней утки. Деревья голые. Небо серое. Справа трамвайные пути, по ним едет трамвай, красный...

- Стоп.

Она замолчала.

- Это, - сказал Марк, - опись имущества. «Небо серое, утки, трамвай красный». Это я и сам вижу. Пока. - Он сунул руки в карманы пальто. - Где та женщина, которая читала про маяк похожий на кусок сахара? Мне нужна она. Не экскурсовод.

- Та женщина читала текст, который написал писатель.

- Чушь. Я слышал текст. Я нашёл книгу, мне её прочитал голосовой помощник, так вот: там нет ни сахара, ни «снег раздумывал». В тексте было «Маяк был белым, снег падал медленно». Остальное вы придумали.

Вера молчала, и он подумал, что, может быть, перегнул. Потом она сказала:

- Я иногда... немного добавляю. От себя. Ирина Павловна ругается.

- Вот, - сказал Марк. - Вот это мне и нужно. Ещё раз. Где мы?

Долгая пауза. Мимо прогрохотал трамвай. Где-то в стороне закаркала ворона.

- Пруд похож на зеркало, которое уронили и не стали подбирать, - сказала Вера медленно.

- По краям лёд, тонкий, мутный, как старое стекло в бабушкином серванте. А в середине ещё живая вода, чёрная, и в ней плавают три утки, будто три запятые, которые кто-то забыл в конце предложения.

Марк закрыл глаза.

Он увидел. Не очень чётко. Но увидел.

- Дальше, - сказал он.

Первая неделя была, как потом говорил Илья, «боевыми действиями».

Марк был невыносим. Он знал это и ничего не мог с собой поделать. Страх, который он держал внутри последние недели, нашёл наконец выход, и выходом стала она: единственный человек, перед которым ему не нужно было притворяться.

- Синее, - повторял он с отвращением, когда она описывала витрину. - «Синее». Синее - это не описание, Вера. Синее - это слово из детского сада. Какое синее? Как море? Как синяк? Как вены на запястье?

- Как чернила, которые пролили на промокашку, - огрызалась она. - Довольны?

- Почти.

Он гонял её по городу четыре часа в день. Рынки, переулки, мосты, метро. Он требовал описать лицо продавщицы, звук, с которым закрываются двери вагона, цвет снега у бордюра, и каждый раз, когда она сбивалась на перечисление, обрывал на полуслове.

- Вы платите мне за то, чтобы я говорила, или за то, чтобы вы меня перебивали? - спросила она на третий день.

- Я плачу за результат.

- Тогда позвольте мне договорить хотя бы до точки.

- Если до точки будет что-то стоящее.

Она ушла в тот день на час раньше. Просто сказала «до завтра» и ушла, и он остался стоять на Пушкинской площади, среди толпы, которую едва различал, и вдруг понял, что не знает, где ближайший вход в метро. Он нашёл его наощупь, по звуку, по потоку людей, и всю дорогу домой был в бешенстве. Не на неё. На себя.

На четвёртый день он извинился. Это получилось само: она пришла, остановилась рядом, и он, не здороваясь, сказал:

- Вчера я был свиньёй.

- Да, - согласилась Вера.

- Вы могли бы из вежливости возразить.

- Вы платите мне за честность.

Он засмеялся. Впервые за много недель - по-настоящему, громко, так, что на них обернулась женщина с коляской. Вера стояла рядом и молчала, но он был уверен, абсолютно уверен, что она улыбается.

На пятый день они вышли к Москве-реке у Большого Устьинского моста. Был мороз, первый настоящий, минус двенадцать. Река ещё не встала, и над водой висел пар.

- Что это? - спросил Марк, кивнув на тёмную громаду впереди.

- Мост.

Он медленно повернул к ней голову.

- Вера. Мы договорились.

Она молчала долго, дольше обычного. Ветер трепал её шарф - он слышал, как шерсть хлопает о ткань пуховика. Потом она сказала тихо, совсем не тем голосом, каким огрызалась:

- Это старый стальной мост. Его давно не красили, и он весь в рыжих подтёках, будто проржавел изнутри. Опоры уходят в воду, толстые, тяжёлые, а сверху на них лежат арки, и всё это вместе похоже... - Она запнулась. - Похоже на старика, который стоит по пояс в реке и держит её за руки. Чтобы она не убежала. Он очень устал, у него ржавчина на ладонях, но он держит. Каждый день. Уже сто лет.

Марк стоял неподвижно. Над рекой поднимался пар. Где-то внизу гудела баржа.

- Откуда вы это берёте? - спросил он наконец.

- Не знаю. Оно просто... приходит.

- У меня так было с музыкой, - сказал он. - Раньше.

Они стояли рядом и смотрели на мост: она - своими глазами, он - её словами. И впервые за пять дней Марк не нашёл, к чему придраться.

Глава 7. Правила игры

Испытательная неделя кончилась, и никто из них об этом не вспомнил.

В понедельник Вера, как обычно, пришла к Грибоедову в восемь. Марк, как обычно, уже стоял там: высокий, в чёрном пальто, с двумя стаканами кофе в руках.

- Капучино на овсяном, без сахара, - сказал он, протягивая один, не глядя.

Вера взяла стакан и замерла.

- Откуда вы знаете?

- В пятницу вы заказали это в кофейне на Покровке. Я слышал.

- Вы запомнили?

- Я композитор, - сказал он с лёгким раздражением, будто это всё объясняло. - Я запоминаю всё, что слышу. Вы тогда ещё сказали бариста «спасибо» два раза, потому что он не расслышал первый.

Вера отпила кофе. Он был горячий и правильный, и почему-то от этого у неё перехватило горло.

- Ну, - сказала она, чтобы что-то сказать. - Куда сегодня?

- Вы выбираете. Это же ваши условия.

Так сложились правила.

Каждое утро в восемь - Грибоедов и кофе. Потом она вела, и он шёл рядом, держась за её локоть: не за руку, никогда за руку, а чуть выше, за рукав пуховика. Это началось само, на третий день, когда он оступился на обледеневшей ступеньке у Ильинского сквера, а она машинально подставила руку. С тех пор он брал её за локоть, едва они трогались с места, и Вера каждый раз чувствовала сквозь ткань тепло его пальцев.

Она выбирала места. Ей нравилось выбирать. Вера вдруг обнаружила, что знает город совсем иначе, чем думала: она тридцать один год прожила в Москве, но видела её как будто сбоку, украдкой, из-под капюшона. Теперь ей надо было смотреть прямо. Смотреть внимательно, впитывать, чтобы потом отдать ему.

Дорогомиловский рынок: горы мандаринов, «похожих на маленькие фонари, которые кто-то забыл выключить после праздника», продавец-азербайджанец с золотым зубом, который всучил Марку гранат и отказался брать деньги. Пешеходный мост у Киевского: «река внизу как ртуть, которую налили в железное корыто». Старый двор в Хамовниках: «дом весь в трещинах, как руки у моей бабушки, и такой же тёплый».

- У вас была бабушка? - спросил он тогда.

- У всех была бабушка.

- Расскажите.

И она рассказала. Про бабушку Нину, которая пекла пироги с капустой и пела романсы низким, почти мужским голосом. Про то, как они с Леной летом жили у неё в Твери, и бабушка учила Веру читать вслух - «с выражением, Верочка, с выражением, ты не пономарь». Про то, что голос, наверное, оттуда.

О пожаре она не рассказала. Пожар случился в той самой тверской квартире, в той самой кухне с пирогами, когда Вере было двенадцать. Бабушки тогда уже не было в живых. Об этом она не говорила никому, кроме психолога, к которому ходила в девятнадцать лет и бросила через полгода.

Он тоже начал рассказывать. Не сразу, по кусочку, будто проверяя, выдержит ли она.

Про отца-дирижёра, который считал его музыку «поп-культурой для домохозяек» и так и не пришёл ни на одну премьеру. Про мать, которая уехала в Израиль после развода и звонила

по воскресеньям, ровно в семь, ровно на двадцать минут. Про то, как в девятнадцать лет он сбежал из консерватории, потому что «там учат писать музыку для мёртвых».

- А для кого пишете вы? - спросила Вера.

Они сидели на скамейке в Нескучном саду. Падал редкий снег.

- Раньше думал, что для живых, - сказал Марк. - Теперь не знаю. Я больше не пишу.

Они помолчали.

- Вы напишете, - сказала Вера.

- С чего вы взяли?

- Не знаю. Просто... вы слушаете так, как будто пишете. Всё время. Я вижу, как у вас двигаются пальцы. Вот сейчас. - Она кивнула на его руку, лежащую на колене. Пальцы и правда чуть шевелились, отбивая какой-то ритм.

Марк посмотрел вниз и сжал кулак.

- Это нервное, - сказал он.

- Нет, - сказала Вера. - Это музыка. Просто вы её пока не слышите.

В среду второй недели случилось то, чего Вера потом долго не могла себе объяснить.

Они шли по Покровскому бульвару, и Марк рассказывал о том, как записывал саундтрек в Праге, как пьяный тромбонист упал в оркестровую яму вместе с тромбоном и продолжал играть, лёжа на спине. Он изображал тромбониста, раскинув руки, и мычал басом, и выглядел при этом так нелепо и смешно, что Вера засмеялась.

По-настоящему. Громко. Запрокинув голову.

И только через несколько секунд поняла, что смеётся, не прикрывая рот рукой.

Она всегда прикрывала. Всю жизнь. Потому что когда смеёшься широко, левая сторона лица не двигается, и улыбка получается кривой, перекошенной, страшной. Она научилась смеяться в ладонь, или отворачиваясь, или вполсилы, одной правой стороной.

А сейчас она стояла посреди бульвара, в шарфе, сбившемся набок, и хохотала, и ей было всё равно.

- Что? - спросил Марк. - Что такое? Вы перестали смеяться.

- Ничего, - сказала Вера. Она быстро поправила шарф. - Ничего. Просто... давно так не смеялась.

- У вас хороший смех, - сказал он. - Он похож на... - Он задумался. - На то, как в оркестре вступают колокольчики. Неожиданно. Когда уже никто не ждёт.

Вера отвернулась, хотя он не мог этого видеть.

- Вы тоже умеете описывать, - сказала она.

- Только звуки, - сказал Марк. - Звуки у меня никто не отнимет.

Вечером Вера рассказала Лене по телефону про колокольчики.

- Божечки, - сказала Лена. - Он ждёт тебя каждое утро?

- Он мне платит. Конечно, ждёт.

- С кофе. Который запомнил.

- Лена.

- Я молчу. Я просто говорю: в восемь утра он ждёт тебя с кофе, а ты в одиннадцать вечера рассказываешь мне, что он сказал про колокольчики. Я врач, Вер. Почти. Я знаю симптомы.

Вера положила трубку и долго сидела в кресле с Бахом на коленях.

Она думала о том, что Марк в это же самое время, наверное, сидит у своего рояля и не играет. И о том, что сегодня, когда они прощались у Грибоедова, он задержал руку на её локте на секунду дольше, чем обычно. Будто не хотел отпускать.

Или ей показалось.

Конечно, показалось.

Глава 8. Первая тема

- Рассвет, - сказал Марк.

Это было в пятницу, в конце третьей недели, у Грибоедова. Вера только что взяла из его рук стакан с капучино.

- Что - рассвет?

- Я хочу рассвет. Настоящий. Не серое утро, а когда солнце встаёт. - Он помолчал. - Я перестал их видеть года два назад. Не замечал, был занят. А теперь... Теперь у меня их осталось не так много.

Он сказал это просто, без надрыва, но Вера почувствовала, как у неё сжалось в груди.

- В декабре в Москве солнце встаёт почти в девять, - сказала она. - И его почти никогда не видно. Облака.

- Я знаю. Илья раздобыл мне прогноз. Во вторник обещают ясно. Минус восемнадцать, ни облачка. Восход в восемь пятьдесят две.

- Где?

- У меня на крыше, - сказал Марк. - Я живу на последнем этаже. Там есть выход, старая дверь, ключ у меня. Оттуда видно всё: от Кремля до Сокольников. - Он запнулся, и в голосе впервые за три недели появилась неуверенность. - Это не ваши условия. Это не улица. Я понимаю, если вы откажетесь.

Вера молчала. Крыша. Его дом. Его территория. Всё внутри неё сказало «нет», привычно, машинально, как говорило девятнадцать лет.

- Хорошо, - сказала она.

Во вторник она пришла к его подъезду в восемь двадцать. Было ещё темно, и мороз щипал щёки так, что даже левая, нечувствительная, ощущала что-то вроде далёкого жжения. Марк ждал внизу, в пальто, в шапке, с огромным термосом.

- Глинтвейн, - сказал он. - Безалкогольный. Почти.

Они поднимались пешком: лифт шёл только до седьмого этажа. Марк шёл первым, держась за перила, и Вера видела, как осторожно он ставит ногу на каждую ступеньку, как слегка поворачивает голову, будто прислушиваясь к лестнице. Он знал этот дом наизусть, но всё равно проверял. На восьмом этаже он открыл железную дверь, тугую, с облупившейся краской, и на них обрушился ветер.

Крыша была широкой, плоской, засыпанной снегом. У края стояли две старые табуретки и ящик - видимо, Марк сюда ходил и раньше. Внизу лежал город: тёмный, синий, усыпанный огнями, как бархат, на который рассыпали бусы. Над ним на востоке небо только-только начинало светлеть.

Они сели на табуретки. Марк налил глинтвейн в крышку термоса и протянул ей. Их пальцы соприкоснулись. Его были горячими.

- Рассказывайте, - сказал он тихо. - С самого начала. Не пропускайте ничего.

И Вера стала рассказывать.

- Сейчас небо на востоке не чёрное и не синее, а такое, как бывает, когда на стекло дышат: мутное, сизое. Над самым горизонтом появилась полоска, тонкая, как порез бумагой. Она светлая, но ещё не жёлтая. Цвета разбавленного молока.

Марк сидел неподвижно, обхватив руками колени, повернув лицо на восток.

- Полоска становится шире. Теперь она... розовая. Нет, не розовая. Цвета изнанки ракушки. Знаете, когда раковину разбиваешь, а внутри перламутр? Вот такая. И над ней облака, маленькие, редкие, как клочки ваты, их подсвечивает снизу, и края у них загораются, будто кто-то провёл по ним золотым карандашом.

Прошло несколько минут. Ветер стих. Где-то далеко внизу прогудела первая машина.

- Вот, - сказала Вера, и голос у неё вдруг дрогнул. - Вот оно. Солнце. Самый краешек. Он красный. Очень яркий. На него больно смотреть. Он вылезает из-за домов медленно, как... как будто боится, что его не ждут.

Она замолчала. Она смотрела на солнце, и на Марка, и на то, как свет медленно ползёт по его лицу - по скулам, по щетине, по светлым, почти прозрачным глазам, которые широко открыты и смотрят прямо на восток. Он, наверное, видел что-то. Свет, по крайней мере. Красное пятно.

- Дальше, - прошептал он.

- Свет начинает разливаться по крышам, - сказала Вера. - Сначала по самым высоким. Шпиль высотки на Котельнической загорелся, как спичка. Потом купола, золотые, они просто вспыхнули. А теперь свет течёт вниз, по крышам, с одной на другую, будто кто-то медленно-медленно открывает огромную книгу, и страницы переворачиваются одна за другой, и на каждой - свет.

Она остановилась, потому что поняла, что плачет. Снова. Как на последней странице романа. Слезы текли по правой щеке, горячие на морозе, и она не вытирала их, потому что он не видел.

Они долго молчали.

- Спасибо, - сказал Марк наконец. Голос у него был хриплым.

Он встал, подошёл к самому краю крыши, к низкому парапету, и долго стоял там спиной к ней, засунув руки в карманы. Вера видела только его силуэт, чёрный на фоне золотого города.

Когда они спускались, он не сказал ни слова. У подъезда он отпустил её локоть и сказал:

- Завтра выходной. Отдохните.

И ушёл, не попрощавшись. ***

Марк не помнил, как поднялся в квартиру.

Он помнил, что снял пальто и бросил его на пол. Что сел за рояль, не снимая ботинок. Что положил руки на клавиши.

И они заиграли.

Это было так, будто плотина, которую он строил полгода, вдруг треснула - тонко, с краю, как та полоска над горизонтом. Три ноты. Фа, ля-бемоль, до. Те самые, что пришли к нему в ночь с «Маяком». Теперь он знал, что с ними делать. Они поднимались, как солнце из-за домов: медленно, будто боясь, что их не ждут. Потом левая рука вступила низким, тёплым басом, похожим на её голос. Потом мелодия пошла вниз, разливаясь по октавам, с одной на другую, как свет по крышам, будто кто-то медленно открывал книгу.

Он играл до обеда. Потом до вечера. Записывал на телефон, потому что больше не мог записать нотами: глаза не справлялись. Он не ел. Не отвечал на звонки Ильи. В какой-то момент за окном стемнело, и он не заметил: свет в комнате для него давно ничего не значил.

Он нашёл тему. Не всю, но начало. Настоящее. Живое. Первое за полгода.

В три часа ночи он остановился, потому что больше не мог. Сидел, опустив руки, дрожа от усталости, и понял, что улыбается.

Потом взял телефон. Попросил голосового помощника: «Позвонить Вера».

Гудок. Второй. Третий. Он хотел сбросить: три часа ночи, он идиот, она спит.

- Алло? - сонно, испуганно. - Марк? Что случилось? Вам плохо?

Он не ответил. Положил телефон на крышку рояля, динамиком вверх, и заиграл.

Он играл ей рассвет. Полоску, похожую на порез бумагой. Изнанку ракушки. Облака, обведённые золотым карандашом. Солнце, которое боится, что его не ждут. Свет, который течёт по крышам, как страницы.

Когда отзвучал последний аккорд, в трубке было тихо. Так тихо, что он решил: она уснула. Или повесила трубку.

Потом услышал. Она дышала, неровно, рвано, как дышат, когда пытаются не плакать.

- Это... - сказала Вера и не договорила.

- Это ваше, - сказал Марк. - Это вы. Я не писал полгода, Вера. А сегодня вы описали мне рассвет, и я... - Он запнулся. - Не знаю, как сказать. Я не умею словами. Это вы умеете.

Она молчала.

- Приходите в четверг, - сказал он. - В восемь. Пожалуйста. И в пятницу. И вообще. Не уходите.

Долгая пауза. Потом её голос, тихий, тёплый, с той самой хрипотцой на нижних нотах:

- Я приду.

Она повесила трубку.

В своей маленькой квартире на Соколе Вера Соколова сидела на кровати в темноте, прижав телефон к груди. Бах смотрел на неё жёлтыми глазами с подоконника.

- Он написал музыку, - сказала она коту. - Про рассвет. Про мой рассвет.

Бах моргнул.

Впервые за тридцать один год Вера была кому-то нужна. Не её голос в наушниках. Не её руки, которые когда-то вынесли сестру из огня. А она сама - то, как она смотрит на мир.

Она знала, что это опасно. Она знала, что так не бывает, что в конце любой такой истории кто-то обязательно увидит то, что не должен был. Она прочитала четырнадцать любовных романов за этот год и знала все их ходы наизусть.

Но пути назад уже не было.

За окном падал снег. Так, будто небо наконец решило, что можно.

Глава 9. Город наощупь

- Закройте глаза, - сказала Вера.

Марк хмыкнул.

- Вы понимаете, что для меня это не такая уж большая разница?

- Понимаю. Всё равно закройте.

Они стояли у входа в переулок где-то в районе Мясницкой. Был конец декабря, и город сходил с ума перед праздниками: гирлянды на каждом фонаре, ёлки в каждой витрине, люди с пакетами, которые толкались и смеялись. Вера придумала эту игру ночью, не в силах уснуть после того звонка, после рассвета, после музыки в трубке. Ей хотелось подарить ему что-то в ответ. Что-то, что не зависело бы от глаз.

Марк закрыл глаза. Вера взяла его за руку - не за локоть, как обычно, а за руку, впервые - и почувствовала, как он чуть вздрогнул.

- Я поведу вас куда-то, - сказала она. - А вы скажете мне, где мы. Без подсказок. Только по звукам и запахам.

- Это нечестно. Я не знаю этот район.

- Вы композитор. Вы запоминаете всё, что слышите. Ваши слова.

Он засмеялся, тихо.

- Ладно. Ведите.

Она вела его медленно, следя за каждой ступенькой, за каждым люком. Его ладонь была большой и тёплой, сухой, с жёсткими подушечками пальцев. Вера старалась не думать о ней. Она думала о маршруте.

Первой остановкой была кофейня, маленькая, с открытой дверью, из которой валил пар.

- Ну? - спросила Вера.

Марк постоял, повернув голову.

- Кофе, - сказал он. - Это слишком просто. Подождите. Корица. И... апельсин. Глинтвейн, но не вино, а что-то... - Он втянул воздух. - Сидр. Горячий сидр с корицей. И там играет радио, старое, джаз, Элла Фицджеральд. И кофемашина свистит на ля. Почти на ля. Чуть ниже.

Вера уставилась на него.

- Откуда вы знаете про сидр?

- Пахнет яблоками, - сказал он просто. - Печёными. С кислинкой.

Второй остановкой был двор старого дома, где кто-то колол лёд у подъезда.

- Лом, - сказал Марк, не открывая глаз. - Кто-то долбит лёд. Человек пожилой, бьёт медленно, с отдыхом, и бормочет. Двор маленький, закрытый: звук отражается от стен, возвращается через полсекунды. Колодец. Петербургский какой-то.

- Это Москва.

- Я знаю, что это Москва. Я говорю, как звучит.

Третьей остановкой была церковь в Кривоколенном переулке. Внутри шла служба, и через приоткрытую дверь доносилось пение, тонкое, многоголосое.

Марк долго молчал.

- Ну? - спросила Вера тихо.

- Церковь, - сказал он. - Ладан и воск. Хор маленький, человек шесть. Две женщины, одна фальшивит, совсем чуть-чуть, на верхнем ми. Регент хороший, держит. - Он помолчал. - Красиво.

- Вы угадали всё.

- Я ничего не угадал. Я слушал.

Она повела его дальше, и тут он ошибся впервые. Они остановились у подземного перехода.

- Метро, - уверенно сказал он.

- Нет.

- Как нет? Ветер снизу, тёплый, пахнет резиной. Метро.

- Это переход. Метро в другой стороне. А тёплый ветер - потому что внизу бабушка продаёт пирожки и у неё обогреватель.

Марк открыл глаза. Он выглядел таким оскорблённым, что Вера рассмеялась.

- Обогреватель, - повторил он. - Обогреватель! Я перепутал метрополитен имени Ленина с бабушкиным обогревателем.

- Бывает.

- Не бывает. Не со мной. - Он развернулся. - Ещё раз. Ведите.

Они играли до обеда. Марк злился, когда ошибался, и сиял, когда угадывал: мясную лавку по запаху копчёностей и звону ножа о кость, школу по визгу перемены, букинистический магазин по запаху пыли и клея. В какой-то момент Вера поняла, что он уже не обращает внимания на её руку. Он держал её так, как держат что-то своё: просто, не задумываясь.

В кафе на Чистопрудном они сели у окна. Марк снял тёмные очки и потёр глаза.

- Это было лучшее утро за полгода, - сказал он.

- Потому что вы угадывали?

- Потому что я забыл. - Он посмотрел в её сторону. - Знаете, что самое страшное? Не темнота. А то, что я постоянно о ней думаю. Каждую минуту, каждую секунду: вот сейчас я ещё вижу этот край стола, а через месяц уже нет. Это как жить на часах, которые тикают слишком громко. А сегодня, - он повертел в руках очки, - сегодня я три часа ни разу о ней не вспомнил. Я был занят. Я слушал. Мир был... - он искал слово, - был не меньше. Он был другой.

Вера смотрела на него и не знала, что сказать.

- Расскажите что-нибудь, - попросил он. - Про себя. Про детство. Вы всё время рассказываете про город, но никогда про себя.

- Нечего рассказывать.

- Неправда.

Она помолчала. За окном шёл снег, и дети на бульваре катались с горки на ледянках.

- Мы с сестрой жили летом у бабушки в Твери, - сказала она наконец. - Там был двор, совсем как тот, где кололи лёд. И огромный тополь. Мы с Леной залезали на него и сидели там часами, и я ей рассказывала, что вижу. Она была маленькая, боялась высоты, не смотрела вниз. А я говорила: «Вон там река, она как змея, которая уснула на солнце. А вон там дядя Коля несёт арбуз, он похож на пингвина с яйцом». Она хохотала и чуть не падала.

- Она и сейчас хохочет?

- Всё время. Она будет врачом. Она лучше всех.

Он улыбнулся.

- Вы её очень любите.

- Она - единственное, что я сделала правильно, - сказала Вера и тут же пожалела: слишком много, слишком близко. Она отвела взгляд, хотя он не мог его видеть.

Марк не стал спрашивать. Он просто протянул руку через стол, нашёл её пальцы и на секунду сжал их.

- Я тоже был на тополе, - сказал он. - В детстве. На

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.